

## О диалектике

*Аврелий Августин*

---

### Предисловие переводчика

Этот текст примечателен не только необычным пониманием диалектики Аврелием Августином, применявшим платоновский метод деления к языку, не только тем, что это первый перевод (читатель знает, что я пользовалась им и в статье «Время у Аристотеля, Плотина и Августина», опубликованной в летнем номере «Vox» за 2013 год, и в написанной вместе с А.П.Огурцовым книге «Онтология процесса», и в № 19 «Синего дивана»), но тем, что сама диалектика здесь представлена через язык, через Логос, по которому был сотворен мир, и через знак, утвердившийся в результате творения и задавший матрицу деления на *deloquendo udedicibile*. Трактат «О диалектике» был написан Августином для своего сына Адеодата. Исследователь этого трактата Дж. Марченд полагает, что концепция Августина – мост между старой стоической теорией языка и средневековой логикой языка. Так, он считает, что в разделе V представлено понятие «лектон», которое у Августина названо *deloquendo*. Он обращает внимание на деление стоиками логоса на *logosendiathetos* (внутренний логос) и *logosprophorikos* (внешний логос).

Латинский текст и часть примечаний (мы это специально оговариваем) подготовлен Джеймсом Марчендом из университета Иллинойса в 1994 г. по изданию Вильгельма Крецелиуса (1828 – 1889), предназначенному для гимназического обучения в 1857 г. Позднее появились новые издания, осуществленные во Франции Н. Барро (1873), в 1974 г. перевод на английский язык предложил Б.Д.Джексон, написавший к переводу Введение и составивший примечания<sup>1</sup>. Джексон перечисляет всех авторов, кто переводил части «Диалектики» или использовал ее, разворачивая грандиозную теорию знаков Августина. Как пишет Джексон, он надеялся на то, что перевод «Диалектики» вызовет интерес историков логики, гуманистариев и студентов, которые изучают мысль Августина. Это, казалось ему, было тем более интересно, что он столкнулся не только с оригинальной мыслью Августина, но и с необычным употреблением терминов.

Более того, Джексон исследовал авторство трактата в контексте его истории и исследования качественных аспектов его языка, сравнивая с терминологией стоиков и сочинениями Варрона, но прежде всего – с собственными сочинениями Августина. Особенно выделяя научное издание Яна Пинборга (1937 – 1982), которым руководствовался в переводе трактата на английский язык, он замечает, что различия – сравнительно с Крецелиусом – незначительны и касаются в основном начертаний слов (*comprehendo* вместо *coprehendo*). Я могу к этому добавить, что сопоставляла терминологию Августина с трактатом «О христианском учении», в котором были термины, через век использованные Бозием. Именно в «Диалектике» используется термин эквилоция (эквивок), родственник эквивокации-двуголосости, дву-о-смысленности. Более того, некоторые термины, например, помимо указанного, – трапп, употреблялись Марком Аврелием. Это значит, что для Августина римская

---

<sup>1</sup>Augustine. Dedialectica / transl. With Introduction and Notes by B. Darrell Jackson. Dordrecht-Holland / Boston-USA, 1975.

терминологическая традиция была очень важна, как важна и римская (не только греческая) философия, которая не сводится к стоической.

Джексон описывает трудности с атрибуцией текста Августину. Авторство трактата приписывалось, помимо Августина, римскому адвокату Vв. Хирю Фортунациану (*Chirius Fortunatianus*). И это убеждение удерживалось вплоть до XVв. Бенедиктинцы, впервые подготовившие к изданию произведения Августина в XVII в., подвергали серьезному сомнению авторство Августина<sup>2</sup>. И до конца XVIII в. эта работа входила в число *spruria* (работ, приписываемых Августину), хотя находились и противники этого. Доказательства Джексона в пользу авторства Августина покоятся, прежде всего, на том, что он упоминал в своих «Ретрактациях», что написал книгу о диалектике в серии книг о свободных искусствах и что она не была завершена. «Ретрактации» стали для Августина стимулом для составления каталога своих произведений. Известно, что Августин читал много книг по свободным искусствам. Это было частью его самовоспитания, вдохновленного «Гортензием» Цицерона<sup>3</sup>. Его главной задачей при анализе свободных искусств было показать переход от телесного к бесстелесному, а именно – к Богу. Другим доказательством авторства Августина является упоминание имени «Августин» в разделе 7. Как считает Пинборг, в то время был известен только один Августин, к тому же это редкое имя<sup>4</sup>. Я бы считала не меньшим доказательством частые ссылки на участников диалогов Цицерона (например, на Котту из диалога «О природе богов» и – тем более – на «Гортензия», который упоминается и в Августиновой «Исповеди») Есть также много параллелей с диалогом «Об учителе», с трактатом «О христианской науке»<sup>5</sup>, например, в том, как понимать слова и имена, знаки и вещи, подобия и тождественность, этимологии, различие между неясностью и двойственностью (двусмыслинностью). Джексон к тому же пишет, что в «Диалектике» определение термина «dicibile» как «схватывание слова в уме» соответствует всей его тринитарной концепции. Я писала об этом в главе «Вещание вещи: Аврелий Августин» в совместной с Александром Павловичем Огурцовыми книге «Реабилитация вещи».

Как пишет Джексон, работал он над книгами о свободных искусствах (*disciplinarum libri*) недолго, в течение 387 г., когда из Кассициака вернулся в Милан. Затем эта книга не вошла в комплекс работ о триадах, подобно трактатам «О музыке» и «О грамматике», о которых упоминают в «Институциях» Кассиодор и в «Этимологиях» Исидор Севильский. Не исключено, что раздел X «О диалектике» вошел в *«Libri Carolini»* и что эту книгу знал Алкуин. Четкая отсылка к диалектике (определение диалектики как науки обсуждения) дана в «Метафизике» Иоанна Сольсбериjsкого, который к тому же пользуется терминами «dictio», «dicibile» и «res» в Августиновом смысле.

Джексон подробно описывает существующие манускрипты трактата «О диалектике», ее использование в школах, ее изучение в XIII в. наряду с «Органоном» Аристотеля, «Об истолковании» Апулея, «Десяти категорий» Псевдо-Августина, с Комментариями к Аристотелю, Порфирию Бозия и др.<sup>6</sup>.

В XVI в. Иоанн Амербах первым опубликовал «О диалектике» под именем Августина в Базельском издании трудов Августина (1506), и он, как считает Джексон, был первым, кто озаглавил трактат как *«Principia dialecticae»*, хотя в трактате нет для этого оснований и

<sup>2</sup>Ibid. P. 1.

<sup>3</sup>Ibid. P. 2.

<sup>4</sup>Ibid. P. 4.

<sup>5</sup> См. мой перевод «О христианской науке» в Антологии средневековой мысли. Т. 1 (СПб., 2001).

<sup>6</sup>См.: *Augustine. Dialectica / transl. With Introduction and Notes by B. Darrell Jackson*. P. 16 – 21.

хотя это название было использовано всеми издателями, кроме Крецелиуса<sup>7</sup>. Амербах к тому же был первым, кто разделил труд Августина на части и дал этим частям заглавия. Этот текст стал своего рода *textus receptus*, общепринятым текстом.

Тем не менее, мы приняли за исходный текст Крецелиуса<sup>8</sup>, который подготовил Джеймс Марченд. Это издание, в отличие от издания Я.Пинборга, выбрано в том числе и для дидактических целей: показать, что именно читали в европейской гимназии (в Эрбельфельде) середины XIX в. Крецелиус пользовался двумя Бернскими манускриптами, ориентировался на рукопись из Кельна, которую сравнивал с изданием бенедиктинцев и в которой нет наименований глав.

В работе над переводом принимала участие группа по изучению латинского языка, действующая уже несколько лет в Институте философии РАН. Текст мы стали анализировать и переводить на втором году обучения. В переводе принимали участие А.А.Гусева, Е.Н.Князева, Т.Б.Любимова, Ю.С.Моркина, А.А.Парамонов, Н.М.Смирнова, У.С.Струговщикова, студентка Наташа Малинина. Занятия периодически превращались в своеобразный семинар, который мы иронически называли «Белая лошадь». Я очень счастлива, что это событие со мной случилось. Благодарю А.А.Гусеву за предоставленную возможность познакомиться с изданием Джексона.

I. Диалектика - наука обсуждения<sup>9</sup>. Мы при всех обстоятельствах ведем спор словами. Слова же бывают или простыми или связанными<sup>10</sup>. Простые – те, которые обозначают нечто одно, например, когда мы говорим «человек», «лошадь», «обсуждает»<sup>11</sup>, «бежит». И не удивляется, что «обсуждает», хотя и составлено из двух<sup>12</sup> [слов – «он обсуждает»], однако числится среди простых, ибо вещь проясняется определением. Ведь сказано, простое – это то, что обозначает нечто одно. Оно, поэтому, заключается в этом определении. Но такое же одно не заключается в определении, когда, например, мы произносим (*dico*) «говорю» (*loquor*). И хотя это одно слово, оно не имеет, однако, обозначения простого, поскольку обозначает лицо, которое говорит. Поэтому оно уже подвластно истине или лжи, ибо оно может отрицать и

<sup>7</sup>Ibid. P. 25.

<sup>8</sup><http://www.philosophy.ru/library/august/dialectica.html>

<sup>9</sup> Как считает Джексон, Августин использует термин «диалектика» вместо «логики», как это делал Цицерон и Варрон. Он полагает, что в этом определении сказалось влияние Диогена, представленное в своеобразной смеси определения риторики как науки о красноречии и диалектики как науки о правильном ведении спора. Если это влияние, то влияние особого рода. На мой взгляд, это свидетельство хорошего знания философии, из которого рождается собственное определение

<sup>10</sup>*Coniuncta* мы переводим «связанное», а не, как подобает грамматической традиции, «составное», потому что реально речь идет именно о связанных, даже сопряженных словах, ибо в латинском языке местоимения, будучи подлежащими, при глаголе опускаются: их выражают личные окончания глагола. Так что «состава» нет.

<sup>11</sup>*Disputat* - он (она, оно) обсуждает.Это глагол 3 лица единственного числа, но третье «лицо», поскольку оно фактически отсутствует как «лицо» (в латинском языке нет личного местоимения 3 лица), хотя, как мы увидим ниже, уже «принято» это именование), может выражать некое безличное состояние – «нечто ведет диспут» или «ведется диспут», потому и не «он бежит», а «нечто (некто) вообще бегает», или просто «бегается».Поскольку для Августина все части речи (предлоги, местоимения, существительные, прилагательные, глаголы) суть имена (см.: Аврелий Августин. Об учителе), то «disputat»и «currit» - такие же имена, как «*homo*» и «*equus*», так как и «*homo*» и «*equus*» могут быть замещены местоимениями «он». Однако (см. ниже) во времена Августина уже употреблялось выражение «третье лицо глагола», под которым, как правило, подразумеваются указательные местоимения. Более того, это яркий пример (именно *disputat*) того, что, хотя *disputare* состоит из неотделимого префикса ‘*dis*’ и глагола ‘*putare*’, ясно, что основанием между простым и связанным словами является значение целого (неделимого) слова, а не их фонетического и даже морфологического сочетания.

<sup>3</sup> См. прим. 1.

утверждать. Итак, всякое первое и второе лицо глагола, так как произносится совокупно [с глаголом], будет числиться среди составных слов, так как у него нет простого обозначения. Если, к примеру, кто-то говорит «я хожу» («*ambulo*»), то он заставляет понимать под «ходжением» [не только само хождение, но] и себя самого, того, кто ходит; и кто-то подобным же образом говорит «ты ходишь», обозначая и вещь, которая происходит [ходжение], и того, кто это делает. А тот, кто говорит «ходит», обозначает ничто иное, как саму прогулку, по этой причине третье лицо глагола всегда числится среди простого, и оно еще не может ни отрицать, ни утверждать<sup>13</sup>, разве что употребляется с такими словами, которыми обозначение лица связывается необходимым обычаем говорения, когда, например, мы говорим «дождит», «идет снег», даже если не добавляется, кто насыпает дождь или снег, однако, поскольку это понимают, то этого нельзя перечислять среди простых.

II. Связанные слова – это те, которые, соединенные между собой, обозначают многое, например, когда мы говорим «человек идет» или «человек, торопясь, идет в гору» и тому подобное. Но одни из связанных слов – это те, которые схватывают сентенцию [целиком], как, например, те, которые были выше сказаны, другие – те, которые ее не схватывают полностью, но нечто еще ожидают, например, если в той самой [сентенции], что мы только что сказали, убрать проставленное слово «идет». Ведь хотя слова «человек, торопясь, в гору...» являются связанными, однако речь все еще продолжает обдумываться<sup>14</sup>. Следовательно, удалив эти связанные слова, которые не заканчивают сентенции, остаются связанными те слова, благодаря которым сентенцию можно понять. Их тоже два вида. Ведь или сентенция понимается как подвластная истине или лжи, например, «всякий человек ходит» или «не всякий человек ходит» и тому подобное. Или же сентенция наполняется таким образом, что, хотя она завершает намерение (*propositum*<sup>15</sup>) ума, однако не может утверждаться или отрицаться, когда мы, например, выражаем повеление, когда выражаем желание, когда проклинаем и тому подобное. Ибо кто бы ни говорил «продолжай путь к вилле» или «о, хоть бы он дошел до виллы», или «боги да погубят его», нельзя доказать, что он лжет, или поверить, что он говорит правду. Ведь он ничего не утверждал, как и не отрицал. Следовательно, такие сентенции не ставятся под вопрос, так как требуют участника обсуждения.

III. Но те, которые его требуют, являются или простыми или связанными. Простые – те, которые высказываются (*enuntio*) без какого-либо соединения с какой-либо другой сентенцией, например, то, что мы говорим «всякий человек ходит». Связанные же те, которые указывают на связь с другой сентенцией, например, «если он гуляет, то он движется». Но когда выносится суждение о связи сентенций, то это происходит до тех пор, пока не будет достигнуто предельного выражения (*summa*). Предел же есть то, что завершается на основании согласия (*ex concessis*). Вот что я хочу сказать: тот, кто говорит «если он ходит, то он движется», хочет нечто проверить, – например, если я соглашусь, что так оно и есть, то ему остается объяснить (*docere*), что значит «ходит», и он достигает предельного выражения [смысла], которого уже нельзя отрицать, то есть [нельзя отрицать того], что «он движется». Или ему предстоит

<sup>13</sup> В латинском языке есть только два лица (в прямом смысле слова – те, кого видишь и с кем непосредственно разговариваешь). Третье лицо, собственно, не лицо. Как говорится при обучении, его роль исполняют указательные местоимения. Потому третье лицо неопределенно, это некое «оно» или «ничто». См.: *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение европейских языков. Л., 1938. С. 205–207. Джексон (с. 123) дает ссылку на Марциана Капеллу (IV, 389).

<sup>14</sup> Это предложение можно понять и как полностью связанное, если допустить пропуск «est»: оно будет звучать, как «человек торопится на гору» («человек есть торопящийся в гору», однако недоказанность все равно может остаться).

<sup>15</sup> Слово, от которого происходит *«propositio»* - «предложение», всегда выражающее намерение. Мы потому решили транслитерировать *sententia*. Оно тоже означает предложение, но изначально имеющее «прочувствованный смысл».

объяснить, что «он не движется», т. е., как это следует из предельного выражения, что «он не ходит». И наоборот, если он, таким образом, хочет сказать «этот человек ходит», то это простая сентенция, которую, если я с этим соглашусь, он может присоединить к другой - «всякий, кто ходит, движется», а я и с этим соглашусь, то на основании такой связи предложений, хотя та сумма высказываний и согласий следует поодиночке, уже с необходимостью допускается, что [«если этот человек ходит»], то, «следовательно, этот человек движется»<sup>16</sup>.

IV. Установив это кратко, мы можем рассмотреть части [диалектики] в отдельности. Ибо первые две таковы: одна - это то, что просто сказывается, где есть как бы материя диалектики, другая - то, что называется связным, где уже проявляется как бы результат действия (*opus, произведение*). Та, что о простом, называется «о речении» (*de loquendo*). Другая, что о связном, делится на три части: та, которая после отделения той связи слов, которая не образует сентенцию, завершает эту сентенцию так, что не возникает вопроса или что не требует спора, называется «об изречении» (*de eloquendo*). Та, которая так завершает сентенцию, чтобы из простых сентенций возникло суждение, называется «о проречении» (пророчестве, *de proloquendo*). Та, которая схватывает сентенцию так, что о ней можно судить на основании самой связи, до тех пор, пока она не подойдет к пределу, называется «о пределе прореченного» (*de proloquiorum summa*)<sup>17</sup>. Эти отдельные части объясним более тщательно.

V. Слово – это знак какой-либо вещи, произнесенный говорящим, который может быть понят слушателем. Вещь – это то, что либо чувствуется, либо понимается, либо скрыто. Знак – это то, что само себя выказывает чувству, показывает нечто уму, помимо себя<sup>18</sup>. Говорить – подать знак артикулированным звуком (*vox*). Я называю артикулированным тот звук, который можно выразить буквами. Это место, в котором обсуждается дисциплина определения, укажет на все, что определено, правильно ли оно определено или до какой степени слова из определения можно было бы проследить с помощью других определений. В настоящий же момент ты, сосредоточившись (*intentus*), восприми то, что сейчас, настоятельно [необходимо]. Всякое слово звучит. Ведь в записи не слово, а знак слова; очевидно же, при созерцании букв читателем, он натыкается в уме на то, что прорывается в голосе. Мы читаем, следовательно, не эти слова, но знаки слов<sup>19</sup>.

Но оказывается, что, хотя сама буква – это наименьшая часть артикулированного звука, мы пользуемся, однако, этим именем - «буква», так как называем букву, когда мы видим ее написанной, хотя бы она была совершенно молчаливой и была не частью звука, но знаком

<sup>16</sup>Здесь можно обнаружить хорошо известные в Средние века дедуктивные правила – modus ponens и modus tollens

<sup>17</sup>Слова «*de loquendo*», «*de eloquendo*», «*de proloquendo*», «*de proloquiorum summa*» (и далее «*dicibile*», «*dictio*») мы старались переводить однокоренными словами, выражающими разный смысл этих имен. Возможен такой вариант: «О сказуемом», «О высказываемом», «О предсказываемом», «О пределе, или: высшей точке предсказываемого»; «О ведении», «О выведении», «О проповедании», «О пределе проповедываемого». У Августина ярко выражено намерение не связывать сказуемое с категориями.

<sup>18</sup>Ср.: «Есть знаки, которые употребляются только для обозначения или выражения вещей. Таковы наши слова и человеческий язык как таковой, ибо слова мы употребляем только для выражения и обозначения ими известной вещи» (Аврелий Августин. Христианская наука, или Основание Священной герменевтики и Церковного красноречия (СПб., 2006. С.45. В этом переводе я позволила себе изменить слово «предмет» на «вещь», как то было у Августина); «знак есть вещь, которая воздействует на чувства, помимо вида, заставляя приходить на ум нечто иное» (Аврелий Августин. О христианском учении // Антология западноевропейской мысли. Т. I. СПб, 2001. С. 66. Перевод мой).

<sup>19</sup> Ср.: Аристотель. Об истолковании: «То, что в звукосочетаниях, - это знаки представлений в душе, а письмена – знаки того, что в звукосочетаниях» (16а 1- 5).

части звука. Так называют и слово, когда оно написано, хотя оно знак слова, т. е. знак значащего звука. Значит, всякое слово звучит, как только я начинаю говорить. Но что звучит, не относится к диалектике.

Ведь когда о чем-то спрашивают или на что-то обращают внимание, речь идет о звуке слова - сколько привлекается гласных при расположении, либо расступится (*dehisco*) при встрече (*concursio*); то же либо связывается при употреблении согласных, либо обостряется их нагромождением, и из какого количества или каких слогов состоит, где поэтический ритм и акцент представляются грамматиками делом одних только ушей. И, однако, поскольку об этом спорят, нет ничего, кроме диалектики. Ведь она – наука обсуждения. Но так как это слова о вещах, когда их добывают из самих себя, то это [слова] о словах, которыми об этом ведется спор. Ведь мы можем говорить только словами, и когда мы говорим, а мы говорим не иначе как о неких вещах, то душе это представляется таким образом, что слова есть знаки вещей, так как они не перестают быть вещью.

Значит, когда слово произносится устно (оге), то если оно произносится ради себя самого, т.е. как если бы что-то нужно было выспросить о самом слове или его обсудить, то такая вещь в любом случае подвергается обсуждению и вопрошанию, но сама эта вещь называется «словом». Всё, что относительно слова чувствует сознающая душа (*animus*), а не уши, и это удерживается в самой этой душе, будучи в ней заключенным, называется высказываемым (*dicibile*). Когда же слово произносится не ради себя, но ради обозначения чего-то иного, оно называется высказыванием (*dictio*). Сама же вещь, которая уже не слово и не схватывание слова в уме (*mens*), имей она слово, которым ее можно обозначить, или не имей, не называется ничем иным, как уже «вещью» - своим собственным именем. Значит, это содержится разделенным на четыре: слово, высказываемое, высказывание, вещь. То, что я назвал «словом», и есть слово, и означает «слово». То, что я назвал «высказываемым», тоже слово, но, однако, означает не «слово» [как знаки], а то, что в слове понимается и содержится в сознании. То, что я назвал высказыванием, есть слово, но такое, что обозначает вместе ту двоину – и само слово, и то, что возникает в сознании (*animus*) через слово. То, что я назвал «вещью», есть слово, которое, помимо тех упомянутых трех частей, означает все, что остается. Но я вижу, что это нужно проиллюстрировать примерами. Поэтому пусть какой-либо грамматик спросит мальчика таким образом: «Какая часть речи “оружие”? Ради себя оказывается то, что называется «оружием», т. е. слово высказывается через само слово. Прочее же сказанное, а именно: «какая часть речи», было либо прочувствовано сознающей душой<sup>20</sup>, либо произнесено голосом не ради самих себя, но ради слова, которое названо «оружием».

Но так как все это осмысливается в сознании, то высказываемое было прежде голоса; когда же оно вследствие того, что я сказал, прорвалось в голос, то сделалось высказываниями. То самое «оружие» которое здесь - слово, в то время, когда оно было произнесено Вергилием, было высказыванием; ведь оно произнесено не ради себя, но так, что им обозначались либо войны, которые вел Эней, либо щит и прочее оружие, которое создал Вулкан для героя. Воспринимались воочию и сами войны, которые вел Эней, или оружие, которое он носил, - само то, говорю, что велось и существовало, на что мы могли бы либо показать пальцем, либо коснуться его, как если бы оно ныне присутствовало, о чем можно и не думать, не становится, однако, тем как если бы этого не было, - значит, все эти войны и оружие не являются ни самими по себе словами, ни высказываемыми, ни высказываниями, ни вещами, которые уже и называются собственным именем – вещь. Поэтому нам в этой части диалектики нужно толковать о «словах», о «высказываемом», о «высказываниях», о «вещах». Во всем этом, так как ими отчасти обозначаются слова, отчасти не слова, однако нет ничего, о чем необходимо было бы спорить не словами. Поэтому о том, прежде всего, и должен вестись спор, через что можно согласиться обсуждать прочее.

---

<sup>20</sup> Сознающая душа – *animus*.

VI. Поэтому любое слово за исключением звука (*sonus*), - то, что надлежит хорошенко обсудить с учетом способности диалектика, но не для диалектического обучения, так, например, защитительным речам Цицерона свойственна способность к риторике, но ими не обучаются самой риторике, - то есть всякое слово, помимо того, что оно звучит (*sono*), необходимо призывает (*voco*) к исследованию такой четверицы: своего происхождения, силы, склонения, упорядочения.

Когда о происхождении слова спрашивают, почему оно так называется, то спрашивать мое мнение об этом - вещь слишком курьезная и не столь обязательная. И разве мне здесь не хотелось бы сказать о том, что и Цицерону то же самое кажется-кто же обладает действительным авторитетом в столь очевидном деле?<sup>21</sup> Что если полностью пытаться объяснить происхождение слова, то было бы неуместно (*ineptum*) приступать к тому, что прослеживать можно бесконечно. Ведь кто может знать, откуда что-то когда-то было сказано так, как сказано? До сих пор происходит так, что как на толкование снов, так и на происхождение слов (*verba*) полагаются на чей-либо ум. Вот ведь кто-либо на этом основании считает, что сказанное есть то, что как бы «поражает» (*verbero*) слух. Более того, иной говорит, что поражает воздух. Но что? Наша тяжба не велика, ведь и то, и другое тащит происхождение этого слова от «ударения» (*averberando*). Но, напротив, смотри, вот третий, который вносит сумятицу. Ведь он говорит: нам следует говорить то, что истинно, хотя и ненавистно, если сама природа выносит суждение от лжи: «слово» (*verbum*) производно от «истины» (*verum*). И не было недостатка в уме и у четвертого. Ибо есть те, кто думает, что «слово» было названо от «истины», - но обратив внимание на первый слог, не следовало бы пренебрегать вторым. Ведь, как говорят, когда мы произносим «слово», первый слог его означает «истину», второй – «звук». Ибо они желают, чтобы это был «гуд» (*bum*). Поэтому Энний<sup>22</sup> назвал звук шагов «гудом (*bombum*) шагов» и греки кличут *βοησαι*, и Вергилий: «гудёт лес». Так и «слово», значит, было названо как бы «гудящей истиной», т.е. «звучящей истиной». То, что предписывает это имя, если это так, так это то, чтобы мы не лгали, когда произносим слово, но я боюсь, не лгут ли сами те, кто так говорит. Значит, уже тебе требуется обсудить, станем ли мы считать, называется ли «слово» от «ударения» или только от «истины», или от «гудящей истины», или нам лучше не заботиться, почему оно так было названо, если мы понимаем, что именно оно обозначает. Короче говоря, я хочу, чтобы ты хоть немного воспринял тот означенный пункт (т.е. пункт о происхождении слов), чтобы нам не казалось, будто мы пропустили какую-либо часть предпринятого труда. Стоики, над которыми Цицерон в этом деле насмеялся, как и Цицерон, считают, что нет слова, происхождение которого нельзя было бы точно объяснить. И хотя, таким образом, их легко было бы прижать, если бы ты сказал, что это будет бесконечно, какими бы словами ты ни истолковал происхождение любого слова, чтобы происхождение их нуждалось в опрашивании тобою, пока они не достигают того, чтобы вещь согласовалась в каком-то подобии со звуком слова, как, например, когда мы говорим «звон» монет, «ржание» лошадей, «блеянье» овец, «звук» труб, «скрежет» цепей. Ты ведь ясно видишь, что эти слова звучат таким же образом, как сами вещи, которые обозначаются этими словами. Но так как есть вещи, которые беззвучны, то подобие в них может обозначить осязание, например, если они мягко или твердо касаются чувства, то

<sup>21</sup> Крецелиус цитирует фрагмент диалога Цицерона «О природе богов» (Ciceronis De natura deorum.XXX): «А должны ли мы также считать, что боги носят те самые имена, которыми мы их называли? Но, во-первых, сколько у людей языков, столько же имен у богов. Вот ты, Веллей, куда бы ни прибыл, везде Веллей. Но Вулкана называют по-разному: в Африке по-иному, чем в Италии, еще по-иному в Испании. Кроме того, ведь число имен невелико, даже в книгах наших pontификов, богов же неисчислимое множество. Что же, они обходятся без имен? Право, вам остается только сказать: “Да к чему им много имен, когда все они на одно лицо!” Но насколько красивее было бы с твоей стороны, Веллей, скорее сознаться в незнании того, что ты действительно не знаешь, чем, наболтав вздора до тошноты, стать самому себе противным».

<sup>22</sup> Римский поэт III – IIвв. до н.э. Джексон в издании «Диалектики» ссылается на книгу: Vahlen J. Ennianae Poesis Reliquae (Leipzig, 1903. P. 238). Вахлен в довольно раннем издании трактата «О диалектике» (1854) этот фрагмент приписывал Фортунациану.

мягкость ли, твердость ли букв как только касается слуха, так производит для них имена: к примеру, когда мы говорим «мягкое», это и звучит мягко. Кто также не полагает твердое через само имя «твёрдость»? Когда мы говорим «куслада», то слуху мягко, а когда говорим «крест», - твердо. Так сами вещи причиняют тот эффект, как ощущаются слова. «Мед» - сколь сама вещь ласкает вкус, столь же мягко касается слуха именем. «Суровое» сурово в любом случае. «Пух» и «терн» - как слышат эти слова, так их и ощущают. Думали, что эта своего рода колыбель слов есть там, где смысл вещей согласовывался со смыслом звуков. Отсюда: при уподоблении самих вещей друг другу вперед может выступить право именования; так, к примеру, причина слова «крест» (*crux*) была названа потому, что твердость самого слова согласуется с суровостью страдания, которое причиняет крест; однако голени (*crus*) были названы так не из-за суровости страдания, а потому, что из-за длины и твердости среди прочих членов они были уподоблены древу креста. Потому доходило до злоупотребления, так как использовалось имя не подобной вещи, но как бы соседней. Ведь что схожего между обозначением «малого» и «уменьшенного», хотя малое может быть и тогда, когда ничтожным образом не уменьшается, а что-то даже выросло? Мы, однако, по какому-то соседству говорим «уменьшенное» вместо «малого». Но это злоупотребление вocabulой во власти говорящего; ведь малое у него то же, что сказать уменьшенное. Это скорее относится к тому, что мы теперь хотим показать, а именно: хотя писцинами (*рыбный садок*, *piscina*<sup>23</sup>) называются бани, в которых нет никаких рыб (*piscis*) и нет ничего подобного рыбам, кажется, однако, что это производится от рыб из-за воды, где живут рыбы. Поэтому если кто-то скажет, что люди, плавая, подобны рыбам, и отсюда родилось имя «пiscина», то глупо сопротивляться, когда ни то, ни другое не отвращается от вещи, но и то, и другое скрыто в ней. Однако часто случается, что мы уже только на одном этом примере можем рассудить, что отличает происхождение слова, которое схватывается на основании соседства, от того, что выводится на основании подобия. Здесь доходит до противоположного. Ибо «роща» (*lucus*), как считается, названа так потому, что в ней меньше всего просвета (*luceat*), а «война» (*bellum*) - потому что это некрасивая вещь (*res bella non*), и имя «договора» (*foederis*) - потому что это не мерзкая (*foeda*) вещь. Поэтому если договор назывался так от мерзости свиньи (*foeditas*), как того желают некоторые, то происхождение [слова] возвращает к тому самому небезызвестному соседству, когда то, что делается, именуется от того, через что делается<sup>24</sup>. Ведь такое соседство вообще широко простирается и рассекается на многие части: или по силы воздействия, как, например, это – от безобразия свиньи, через что создается договор, или через эффекты, например, «колодец» (*puteus*), как считается, называется так потому, что его эффект это напоение (*potatio*), или через то, чем ограничивается, например, желают называть «город» (*urbs*) от кольца (*orbis*), потому что место после гадания обводится плугом, о какой вещи упоминает и Вергилий, там, где Эней намечает плугом город, или через то, что ограничивается, например, если кто подтвердит, что «амбар» (*horreum*) с удаленной буквой был названо от «ячменя» (*hordeum*), или через злоупотребление, когда мы, например, говорим об амбаре и там, где укладывается пшеница, или целое по части, например, именем «острия», который является наивысшей частью меча, мы называем меч, или часть по целому, как, например, « волос» (*capillus*) как бы « волос головы». Что же может меня двигать дальше? Что бы иное ни добавить, ты увидишь, что происхождение слова содержит либо в подобии вещей и звуков, либо в подобии самих вещей, либо в их соседстве или противоположности. За этим подобием звука мы не можем следовать дальше, но и этого не можем, по крайней мере, можем не всегда. Ведь неисчислимы слова, происхождение и смысл (*ratio*) которых нельзя было бы передать.

<sup>23</sup> Когда-то это так и называлось – писциной. Этим именем древние римляне называли бассейн с теплой водой для купанья. В древнехристианских базиликах писциной называлась бассейн для крещения. Впоследствии так называлась ниша возле алтаря, в которой устанавливался сток для воды. См.: *Donatus. Ars grammatica. III, 6, 2.* Августин в трактате «Христианская наука» пишет: «Кто не называет рыбницею (*piscine*) или рыбною сажалкою такое водохранилище, которое не имеет рыб и сделано не для рыб, но от рыб получило название. А это опять троп, называющийся катахрезисом» (с.152).

<sup>24</sup> Происхождение слова *foedus* неясно. Крецелиус отсылает к «Этимологиям» Исидора Севильского, а тот производит его от *haedo*(коза). Барро в переводе «Диалектики» на французский язык считает, что голова свиньи, наколотая на пике, иногда бывала военным знаком. Этимология, считает Джексон, неизменно связывалась с «воинскими» функциями при установлении союзов (р. 128).

Либо его нет, как думаю я, либо он скрыт, как настаивают стоики. Посмотри, однако, хоть чуть-чуть, каким образом они полагают подобраться к этой колыбели или скорее к древу, [или] даже посеву слов, помимо того, что они запрещают спрашивать о происхождении, а если кто-то и хочет, найти не может. Никто ведь не отрицает, что слоги, в которых буква «v» занимает место согласного, например, первые буквы в таких словах, как «*vafer*, хитрый», «*velum*, покрывало», «*vinum*, вино», «*vomis*, сошник», «*vulnus*, рана», издают грубый и как бы крепкий звук. Это подтверждает сам обычай речения, когда мы убираем эти звуки из некоторых слов, чтобы они не резали ухо. Ведь отсюда следует то, что мы охотнее говорим «*amasti*, я полюбил», чем «*amavisti*» [то же, что *amasti*], «*nosti*, я узнал», чем «*novisti*», «*abiit*, он ушел», чем «*abivi*» и т.д. до бесконечности. Следовательно, когда мы произносим «сила, *vis*», то звук слова, так сказать, как бы крепкий, соответствует вещи, которую обозначает. Уже на основании такого соседства по тому, что эти звуки производят, т.е. поскольку они неистовы в силе (*violens*), могут, как кажется, возникнуть имена «оковы» (*vincula*) и «ивовый прут» (*vimen*), которой что-то скрепляет (*vincire*). Отсюда «виноградные плети» (*vitis*) обвиваюто, что является подпорками, каковыми плетью они обвивают [вокруг них]. Оттого же, по сходству, Теренций<sup>25</sup> скрюченного старца назвал согбенным. Оттого же и земля, которая извивается и проторена ногами путников, называется путем-дорогой (*via*). Если же как чаще считают, так называется «путь» (*via*), поскольку он проторен «силой ног» (*vi pedum*), то его происхождение ведет к тому самому соседству. Но мы это сделаем по сходству с ивовым прутом или виноградной плетью, т.е. так называется от изогнутости. Кто-нибудь спрашивает меня: из-за чего получается название «путь» (*via*)? Отвечаю: от изгиба, потому что древние нарекали изгиб, словно кривого старика (*vietus*), отсюда «*vietos*» они зовут также деревянные вещи, которые обвиваются железным ободом колес. Но тот продолжает спрашивать, почему изгиб называется кривым (*vietum*)? И я им отвечаю: по подобию виноградной лозы (*vitis*). Тот же настаивает и требует: откуда такое имя - «*vitis*»? Я говорю, что «*vinciat*» («обвивает») это то, что связывает. Он выпытывает: само «*vincire*» (обвивать) так было названо; мы же скажем – от «силы» («*vis*»). А «*vis*», спрашивает, почему так именуется? Разум откликается: потому что слово мощным и как бы крепким звуком совпало с вещью, которую обозначает. Сверх того, что тот требовал, у него ничего нет. Бесполезно следить, сколькими же способами изменяется происхождение слов из-за превратности звучаний. Ибо есть и дальняя связь и менее далекая, чем то, что сказано.

VII. Теперь мы можем кратко рассмотреть, что такое сила слов, насколько эта вещь откроется. Сила слова – это то, благодаря чему познается, насколько оно имеет значение. А значение оно имеет настолько, насколько может расшевелить слушателя. Далее: оно встряхивает слушателя или само по себе, или по тому, что означает, или по тому и другому вместе. Но когда она встряхивает его сама по себе, она или касается одного только чувства, или искусства, или того и другого. Чувство приходит в движение или по природе, или по привычке. Оно рассудит по природе, когда его заденет, если кто назовет имя царя «Артаксеркс», либо успокоится, когда слышит [имя] «Евриал»<sup>26</sup>. Ибо кто же, даже если ничего никогда не слышал об этих людях, имена которых – вот они, не рассудит, однако, что в том [первом имени] максимальная твердость, а в этом [втором] – мягкость? Чувство возбуждается по привычке, когда его задевает, если кого-то назовут, например, Моттой, и не возбудится, когда услышит [имя] Котта<sup>27</sup>. В самом деле, здесь нет никакой заинтересованности в том, будет ли звук приятен или неблагозвучен, но значение имеет исключительно то, что он проник в уши, воспринимают ли уши переходящих через себя звуки как известных или неизвестных

<sup>25</sup>Публий Теренций Афр (190 – 159) – древнеримский драматург, автор комедий, родом из Карфагена. На основании комедий Менандра и Аполлония Афинского написал комедии «Самоистязатель», «Братья», «Евнух», «Свекровь» и др. Его жизнеописание составил Светоний.

<sup>26</sup>Артаксеркс – имя персидского царя, Эвриал, вероятно, мальчик из «Энеиды» Вергилия.

<sup>27</sup>Котта – участник диалога Цицерона «О природе богов».

чужеземцев. Искусством же возбуждается слушатель, когда, высказав для себя слово, сосредоточенно размышляет, какая это часть речи, или воспринимает что-то иное в тех дисциплинах, которые обучаются словам. И действительно, на основании того и другого, т.е. чувства и искусства, судят о слове, так как то, что уши определяют, разум отмечает и таким образом налагает имя. Так, когда, например, говорят «лучший» (*melior*), то сразу же, как только ухо пронзили один длинный слог этого имени и два коротких, сознавшая душа на основании искусства тотчас узнает стопу дактиля. Впрочем, слово волнует не само по себе, но согласно тому, что [оно] означает, когда эта душа в знаке, воспринятом через слух, видит перед собой ничто иное, как саму вещь, рассматривает, чей знак есть то, что он опознал: как, например, я, нареченный Августином, ничем иным как самим собой не мыслюсь для того, кому я известен, или кто-либо другой из людей придет на ум, если случайно это имя услышит либо тот, кто меня не знает либо тот, кто знает другого, кого зовут Августином<sup>28</sup>. Когда же слово и само по себе волнует слушающего, и согласно тому, что оно означает, тогда и само высказывание, и то, что им высказывается, взаимообращаются. Отсюда следует, что разве не оскорбляется чистота ушей, когда он слышит «разве не с помощью руки, брюха, пениса благую отчину он расточал»<sup>29</sup>? Но оскорблялась бы, если бы постыдную часть тела грязным и постыдным и вульгарным именем называть, и хотя вещь - одна и та же, к которой относится и то, и другое имя, разве что в первом непристойность вещи, которая была обозначена, скрывается за пристойностью обозначающего слова, а в последнем чувство и сознание, и не поразит ли обезображивание то и другое: ведь не становится иной блудница, но иначе она, однако, смотрится в том наряде, в котором имеет обыкновение стоять перед судьей, и иначе в том, в котором лежит в роскошной спальне. Так как, стало быть, ясно, что есть такая сила и такое множество слов, чего мы кратко коснулись в общих чертах некоторое время тому назад, то отсюда рождается двунаправленное внимание на смысл: либо через выяснение истины, либо через сохранение пристойности. Первое из них относится к диалектику, второе скорее всего к оратору. Хотя не подобает, чтобы обсуждение было никчемным, а изъяснение ложным, однако в первом часто (даже почти всегда) желание слушать пренебрегает радостью обучения и во втором несведущее большинство полагает, что истинно говорится то, что говорится красиво. Следовательно, когда выясняется, что именно есть свойство каждого, то очевидно, что и ведущий диспут должен окропиться риторическим цветом, если у него есть страсть к наслаждению, и оратор, если хочет внушить истину, должен усилить ее как бы диалектическими мускулами и костями, которые сама природа не могла отнять у наших тел по крепости силы не позволяла обнаруживать при отвращении глаз.

VIII. Итак, теперь благодаря рассуждению об истине посмотрим, - а именно это провозглашает диалектика, - какие рождаются трудности из той силы слов, каковые семена ее мы рассыпаем. Ведь либо неясность (*obscuritas*), либо двойственность (*ambiguitas*<sup>30</sup>) препятствует слушателю в видении истины в словах. Между двойственностью и неясностью разница в том, что в двойственности многое себя обнаруживает, из чего упускается то, что лучше бы принять, а в темном мало что привлекает внимание. Но там, где мало что обнаруживается, неясное подобно двойственному: как если бы кого-то, начинаящего путь, встречают где-то на распутье двух или трех дорог или, я бы сказал, множества путей, и там из-за плотности тумана нет ни одной освещенной дороги. Значит, прежде всего, он пугается из-за движения во мраке; а там, где тучи немного начинают редеть, показывается нечто, становится сомнительным, дорога ли это или собственный чистый цвет земли. То есть эта неясность подобна двойственному. Однако даже при прояснении или когда небом, насколько глазам

<sup>28</sup> Этот фрагмент и считается доказательством принадлежности трактата «О диалектике» Августину.

<sup>29</sup> Sallustius.BellumCatilinae. 14.2

<sup>30</sup> Может соответствовать , как считает Крецелиус, термину, предложенному Хрисиппом, «амфиболия», т.е., как пишут словари, двойственность или двусмысленность (здесь переводится и так, и так в зависимости от уместности употребления), получающаяся от того или иного расположения слов или от употребления их в разных смыслах, не разделяя, а смешивая их.

довольно, уже высветилась разводка всех дорог, сомнительно, по какой идти не из-за неясности, а из-за двойственности. Также есть три рода неясности. Один – тот, когда то, что открывается чувству, закрыто для сознающей души; например, если бы нарисованный гранат увидел кто-то, кто никогда не видел его и совсем не слыхал о том, какой он был, то не к глазам, а к сознающей душе относится то, что ей не ведомо, какой вещи этот рисунок Второй род – тот, где вещь открылась сознающей душе, хотя не закрылась и чувству: подобно человеку, нарисованному в потемках. Ведь когда он явится глазам, сознающая душа не усомнится, что человек нарисован. Третий род – тот, в котором он также скрыт от чувства, причем так, что, однако, если он и выявится, то ничего больше в сознающей душе не выявится. Этот род темнейший из всех – как если бы несведущего человека заставили признать в потемках тот самый гранат.

Вновь верни теперь сознание к словам, чьими подобиями они являются. Созвав учеников, затверди в сознании какую-либо грамматику и при возникшей тишине шепотом скажи «марсала»<sup>31</sup> – то, что этим было сказано, довольно хорошо услышали те, кто близко сидел, кто подальше – плохо, кто же дальше всего, вовсе не были процараны голосом. Из тех, кто был подальше, не знаю, по какому случаю, одни отчасти знали, что такое «марсала», отчасти нет; первым же, кто хорошо воспринял голос учителя, совершенно не было известно, что такое «марсала», – всем мешала неясность. И здесь ты ясно видишь все три рода неясности. Ибо те, кто нимало не сомневался в услышанном, страдали от первого рода неясности, коему подобен для несведущих гранат, нарисованный, однако, при свете. Те, кто знал слово, но не воспринял голоса ни ушами, ни хоть как-то, ни вовсе не воспринял, те испытывали второй род неясности, коему подобен образ человека, но не при свете или вовсе в темном месте. Те же, кто остался безучастным не только к голосу, но и к значению слова, – к неясности третьего рода, который всем неприятен, пронизывались слепотой. То же, что было сказано, что нечто темное подобно двойственному, можно убедиться на примере тех, кому слово было известно, но кто голос не воспринял или вовсе, или едва-едва. Следовательно, все роды неясного в речении избегнет тот, кто, насколько можно, удостоился и ясного голоса и не будет пользоваться ни путаной речью, ни общеизвестными словами. Посмотри теперь на том же примере грамматика, как совершенно иначе может запутать двойственность слова, нежели его неясность. Вообрази, что те, кто присутствовал и довольно чувствительно воспринял голос учителя и высказал то самое слово, которое всем было известно, а именно: вообрази, что он сказал «великий» и затем умолк. Внемли, сколько неопределенности претерпевается из-за этого услышанного имени, – что, если будет сказано «какая это часть речи?» А что, если будет задан вопрос о размере – «какая это стопа?» Что, если об истории, как, например, «сколько войн вел великий Помпей?» Что, если будет сказано (ради того, чтобы придать прелест песням): «Назве не велик чуть ли не единственный поэт Вергилий?» Что, если тот, кто бранит учеников за нерадение, затем разразится на это словами: «Великий столбняк напал на ваше усердие»?

Разве ты не видишь, что, после того, как были раздвинуты облака мрака, как бы выступило то многодорожье, о чем выше было сказано?<sup>32</sup> Ведь то единственное, что называется «великий», есть и имя, и стопа хорея, и Помпей, и Вергилий, и столбняк нерадения, и относительно чего даже если не упомянуто что-то другое или бесчисленное, что, однако, можно понять из такого высказывания слова.

IX. Итак, диалектиками самым прямым образом было сказано, что всякое слово двусмысленно. И пусть не волнует то, что Гортензий у Цицерона язвит таким образом:

<sup>31</sup> В оригинале *«temetum»* – крепкое вино. По Джексону, доклассический поэтический термин пьянящего напитка.

<sup>32</sup> Весь этот пассаж напоминает риторические образцы речи Цицерона, например, «Первой речи против Катилины».

«Говорят, что двусмысленное смеют<sup>33</sup> объяснять ясно. Они же говорят, что всякое слово двусмысленно. Каким же, следовательно, образом они смогут объяснить двусмысленное двусмысленным? Ведь это то же, что в темноту внести угасшую свечу». Сказано тонко и горячо, и это именно то, что у того же Цицерона Сцевола говорит Антонию<sup>34</sup>: «Наконец-то, кажется, что вы говорите с мудрыми ясно, с глупыми правильно».. Ведь что иное делал в том месте<sup>35</sup> Гортензий, если не остроумно и красноречиво как бы подлил туман в бокал неопытным с чистым и сладким [вином]? Ведь то, что было сказано, а именно, что всякое слово двусмысленно, сказано о единичных словах<sup>36</sup>. Объясняется же двусмысленное через обсуждение, а никто ни в каком случае не обсуждает с помощью единичных слов. Никто не станет объяснять двусмысленные слова двусмысленными словами, и, однако, так как всякое слово двусмысленно, никто двусмысленность (*ambiguitas*) слов не будет объяснять иначе, как словами, но уже связно сопряженными, которые не были двусмысленными. Например, если бы я сказал «всякий воин двуног», то из этого не следовало бы, что вот та когорта воинов при любых обстоятельствах состояла бы из двуногих. Так, когда я говорю, что всякое слово двусмысленно, я не привожу ни сентенцию, ни обсуждение, хотя все это сплетается из слов. Потому всякое двусмысленное слово будет объясняться недвусмысленным обсуждением.

Рассмотрим теперь роды двусмысленностей; их два; один в том, что ими сказывается, другой вызывает сомнение только в том, что пишется. Ведь если кто-то услышит или прочтет «acies» («острие», «взгляд»), то он может сделать вывод о чем-то неясном, если только не прояснит это через сентенцию, сказано ли это или написано о боевом строем воинов, или об острье копья или об остроте взгляда. Но если кто обнаружит запись слова «leprore»<sup>37</sup> и не прояснится, в какой сентенции оно употребляется, тот действительно усомнится, нужно ли удлинять предпоследний слог этого слова, производя его от «красоты» (*lepos*), или укоротить его, производя от «зайца» (*lepus*), то эту двусмыслицу не раскрыть, если воспринять винительный падеж этого имени с голоса говорящего. Потому что если бы кто-то сказал, что говорящий мог плохо произнести, то слушатель бы запутался не из-за двусмысленности, но из-за неясности, принадлежащей тому, однако, роду, который подобен двусмысленному, ибо плохо произнесенное по-латыни слово тянет мыслящего не к разным понятиям, а побуждает к тому, что очевидно. Так как, следовательно, два этих рода сильно отличаются друг от друга, то первый род еще делится надвое. Ведь нечто сказывается и может быть понято через многое, то есть одно и то же многое или может содержаться не только в одном слове, но и в одном определении, или содержится только в общем слове, но объясняется через различные фигуры (*expeditio*). То, что может включать определение, называется единогласным (или одноголосым, *univoca*), а для всего того, что под одним именем необходимо определять разно, есть имя «дву-о-смысленного» [«двуголосого», «равногласного», *aequivocis*]<sup>38</sup>. Сначала мы обозначили единогласное, и поскольку, например, этим определением был раскрыт род, то это можно проиллюстрировать примерами. Когда мы говорим «человек», мы называем как мальчика, так и юношу, и старца, как глупого, так и умного, как большого,

<sup>33</sup> Дж. Марченд считает это слово (*audere*) догадкой Эразма Роттердамского.

<sup>34</sup> Цицерон. О речи 1, 10, 44. – Прим. Марченда.

<sup>35</sup> Имеется в виду: в той части текста.

<sup>36</sup> Слово «дву-смысленность» - единичное слово.

<sup>37</sup> В *ablativus* (творительном падеже).

<sup>38</sup> Аequivoca (эквики) отличаются от *ambiguitas* тем, что в первом голоса не сливаются, а каждый слышится сам по себе, не забывая о другом, а во втором толкование отдается на откуп слушателю/читателю, подчеркивая авантюрность понимания, толкуя слово или фразу в нужном для него или ироническом смысле. Джексон при передаче понятий единогласное (единомысленное) и двуголосого (дву-о-смысленного) ссылается на «традицию», идущую от «Категорий» Аристотеля, где речь соответственно идет о синонимах и омонимах. В книге «Реабилитация вещи» мы с А.П.Огурцовыми специально разбирали отличие омонима от эквики (глава о Бозии). В данном случае уже не Бозий, а Августин (сотню лет раньше) говорит о том, что эквики – одно слово, выражющее разные смыслы не двух вещей, а одной и той же вещи. Не случайно он пишет не только об эквикиях, но и – чаще всего – об «aequivoca» (прилагательное «дву-смысленное») как если бы писал о своем собственном вещи.

так и маленького, как гражданина, так и пилигрима, как горожанина, так и селянина, как того, кто уже был, так и того, кто есть сейчас, как сидящего, так и стоящего, как богатого, так и бедного, как делающего что-то, так и прекратившего, как радующегося, так и горюющего или не того и не другого. Но во всех этих высказываниях (*dictio*) нет ни одного, которое и не приняло бы, например, имени «человек», и не замкнулось бы определением «человек». Ведь определение человека - разумное смертное животное. Потому разве кто-то может назвать разумным смертным животным<sup>39</sup> только юношу, а не мальчика, не старика, или только умного, а не глупого? Мало того, и то и другое из перечисленного содержится как в имени «человек», так и в определении. Ведь мальчик ли, глупый, или бедный, или даже спящий, если он не разумное смертное животное, то он и не человек; а он - человек. Необходимо, значит, чтобы это содержалось в определении. И в прочем нет ничего двусмысленного. Относительно же мальчика, бедного или глупого, или совсем тупого, или относительно спящего, пьяного или бешеного можно сомневаться, каким образом они могут быть разумными животными. Можно, конечно, это и защитить, но это долго для спешащих к другому. По поводу того, о чем ведется речь, недостаточно этого прямого и незыблемого определения «человек», если в нем не содержится весь человек и ничего, кроме человека. Вот это потому единогласное, что заключается не только в одном имени, но также в одном определении его имени, хотя они могут различаться между собой и своими собственными именами, и определениями. Различны ведь имена: «мальчик», «юноша», «богатый» и «бедный», «свободный» и «раб», и если есть что-либо другое из различий. Поэтому они имеют разные определения среди своих собственных. Но как у них одно общее (*commune*)<sup>40</sup> имя «человек», так и одно общее определение: «разумное смертное животное».

Х. Теперь рассмотрим дву-о-смысленное (двуголосое, *aequivoca*), в чем почти беспредельная двойственность прорастает неопределенностью. Однако попробую разделить их на некоторые роды. Ты рассудишь, будет ли сопровождаться мое усилие умением.

Итак, есть три первых рода двойственостей, которые приходят из эквицоций так?. Одна от искусства, другая от употребления, третья от того и другого. Я сейчас говорю «искусство» из-за имен, которые налагаются словами в словесных дисциплинах. Ведь то, что двусмысленно, по-одному определяется грамматиками, по-другому - диалектиками. И, однако, то одно, что я называю «Туллий» (*Tullius*), есть и имя, и стопа дактиля, и двусмысленное. Поэтому если бы кто-то от меня настоятельно потребовал, чтобы я определил, что такое «Туллий», я ответил бы объяснением каждого понятия. Ведь я могу сказать прямо: «Туллий» - это имя, которым обозначается человек, один выдающийся оратор, который как консул подавил заговор Катилины. Обрати внимание, что я ясно определил само имя. Ведь если тот самый Туллий, на которого можно было бы показать пальцем, если бы он был жив, нуждался бы в определении, то я не сказал бы: «Туллий - это имя, которым обозначается человек», но сказал бы: «Туллий это человек» и таким образом присоединил бы остальное. На то же я мог бы ответить таким образом: Туллий - это стопа дактиля, состоящая из этих букв, ибо что за нужда перечислять буквы? Можно и так сказать: «Туллий» – слово, благодаря которому двусмысленное есть все друг относительно друга вместе с тем, что выше сказано, и с тем, что еще иное можно обнаружить. Так как, следовательно, то одно, что я назвал «Туллий», мне следовало определить в терминах искусств столь по-разному, то что же мы сомневаемся в существовании рода двойственного, происходящего из двусмысленного, о чем заслужено можно сказать, что он случается на основании искусства? Мы ведь говорим, что

<sup>39</sup> Цицерон определил человека в диалоге «О природе богов» как разумное живое существо, но живое существо у него – бог (*deus est animans vel animal*). Чтобы отличить человека от бога, Сенека добавил к человеку разумному качество смертного: разумное смертное живое существо.

<sup>40</sup> *Communipenomen* - не универсалия, это слово спустя век будет объяснять Беэций, считавший Августина своим учителем. Для него *communipenomen* – это единство во множестве, со-дарение имени равным единичным вещам. Универсалия – это само бытие вещи, существующее до нее, как она сама или после вещи.

двуосмысленное есть то, что не может содержаться ни в одном имени и ни в одном определении.

Посмотри теперь на другой род, который, как мы напомнили, происходит из обычая наречения (*iusus loquendi*)<sup>41</sup>. Я называю «обычаем» («*iusus*») само то, ради чего мы опознаем слова. Ибо кто подыскивает и собирает слова ради слов? Итак, представь, что кто-то слушает так, как будто ему ничего неизвестно о частях речи, или что кто-то спрашивает о стихотворных размерах или о какой-нибудь словесной дисциплине. Однако он все равно может, когда говорят «Туллий», пугаться из-за неопределенности эквибиций (эквибоков). Ведь этим именем мог обозначаться и тот, кто был выдающимся оратором, и его благочестивый образ, либо статуя и кодекс, в котором содержатся эти буквы, и то, что находится в могиле как его труп. Ведь в разных значениях мы говорим: «Туллий избавил родину от погибели» и «Туллий стоит на Капитолии золоченым» и «тебе надо читать Туллия» и «Туллий похоронен в этом месте». Ведь имя-то одно, но все это нужно объяснять разными дефинициями. Это, следовательно, и есть род эквибиций, в котором ни одна словесная дисциплина не производит неясность, но она производится самими вещами, которые обозначаются. И если то, что высказывается на основании ли искусства, либо на основании обычая речи, смущает слушателя или читателя, то разве прямо не причислится третий род? Коего пример яснее проявляется в сентенции, как если бы кто-то сказал: «Многие писали размером дактиля, как Туллий». Ведь здесь неясно, приведен ли «Туллий» как пример стопы дактиля или поэта, пользующегося дактилем, из каковых примеров первое принимают на основании искусства, а второе по обычай наречения. Но это случается в отношении простых слов, как если бы это слово высказал грамматик слушающим ученикам, как мы выше показали.

Так как, следовательно, три рода различаются между собой очевидными основаниями, то первый род опять же делится надвое. Ибо что бы ни производило на основании словесного искусства двусмысленность, отчасти оно может быть примером себя, отчасти не может. Ведь когда я определяю, что значит «имя», я могу заместить его примера ради. И действительно то, что я называю именем, является именем при всех обстоятельствах, ибо по этому закону оно изменяется по падежам, когда мы произносим «имя, имени, по имени» и пр. Также, когда я определяю, что значит дактиль (стопа), то это слово само может быть примером. Ведь когда мы говорим «дактиль», *dactylus*, то мы произносим один длинный слог, а затем два кратких. А когда определяется, что значит «наречие», то это нельзя приводить в качестве примера. Ибо когда мы произносим «наречие», то само это выражение есть имя. Так, по одному значению «наречие» при всех обстоятельствах наречие, а имя есть имя, а по другому – «наречие» не является наречием, потому что оно – имя. То же относится к «критской стопе»<sup>42</sup>, когда определяется то, что она обозначает, само это [выражение] не может быть примером. Ведь это высказывание, которое мы произносим как «*creticus*», состоит из первого длинного слога и затем из двух кратких, что значит: есть долгий слог, краткий и долгий. Таким образом, и здесь по одному понятию в «*creticus*» нет ничего иного, кроме значения «критский», и это не дактиль, а по другому, «*creticus*» не относится к Криту, ибо это – дактиль.

Второй же род, о котором уже было сказано, что он относится, помимо словесных дисциплин, к обычай наречения, имеет две формы. Именно поэтому двусмысленное или одного и того же происхождения, или разного. «Одного и того же происхождения» я называю то, что как бы проистекает из одного источника, хотя держится одним именем, но не под одним определением; например, то, что под «Туллием» может пониматься и человек, и статуя, и кодекс, и труп. Это не может заключаться в одном определении, но все же у них один

<sup>41</sup>Эквибокальное имя Августин применил у *iususloquendi*, к обычай наречения. Удивляет то, что в начале X раздела он говорит только об употреблении, об обычай, об узусе, а здесь пояснил, что понимает под этим узусом именно двусмысленное, специально отличенное внутри двусмысленного-двойственного. Это заметил и Джексон, который пишет, что «наверное, он ничего не хотел ничего добавить к этому понятию», поскольку оно встречалось и ранее, например, у Варрона.

<sup>42</sup> Амфимакр, или кретик (*pes creticus*).

источник, а именно тот самый истинный человек, к коему относится и та статуя, и те книги, и тот труп. Когда мы говорим «*nepos*», то это означает, что сын сына и богач - совершенно разного происхождения. Удержим в голове, значит, что это разное, и взглянись в тот род, который я называю родом по одному и тому же происхождению, на что он снова делится. Ибо и он делится надвое, один из которых относится к переносному значению, другой – к склонению. Я называю переносом, когда одно имя либо принадлежит многим вещам либо по подобию, как, например, «Туллием» называется и тот, у кого было великолепное красноречие, и его статуя, либо когда часть именуется по целому, например, когда мы «крышами» называем все дома целиком; или виды по роду: ибо словами называется преимущественно все, о чем мы говорим, но, однако, собственно «словами» было поименоано то, что мы склоняем<sup>43</sup> по залогам и временам; или род по виду: ибо, например, «схоластиками» называются не только собственно [учителя], но прежде всего те, которые до сих пор находятся при школах, всеми теми, кто жив ученоостью, это имя узурпировано; или когда свершение по создателю, например, «Цицерон» - это книга Цицерона, или когда создатель по свершению, например, «страх» - тот, кто сотворил этот страх. «Домом», например, называют по тому, кто в доме; или наоборот, «каштан», например, называется просто деревом; или если может обнаружиться что-то иное, что, будучи одного и того же происхождения, называется как бы по переносу. Видишь, как я думаю, что производит двойственность в словах. Таково то, о чем мы говорили, что принадлежность к одному и тому же происхождению при условии склонения двойственна. Представь, к примеру, что кто-то сказал: «дождит», и это при разных обстоятельствах нужно определять по-разному. То же и тот, кто говорит «писать», тот произнесет или в неопределенном наклонении действительного залога, или в повелительном наклонении страдательного залога. Хотя «человек» - это одно имя и одно высказывание, однако оно одно в именительном падеже, другое в звательном, как, например, «*doctus*» и «*docte*»<sup>44</sup>, где произнесение различно. «Более умный» - одно, когда мы говорим «более умный раб», и другое, когда говорим «этот спорил умнее, чем тот». Двойственность, следовательно, происходила благодаря склонению. Склонением же я теперь называю то, что случается либо из-за изменения звуков, произносимых голосом, либо из-за значений. «Этот умник» ведь и «о умник!» изменяются по звукам голоса, а «этот человек» и «о человече!» по одним лишь значениям. Но этот род двойственостей понемногу можно бесконечно разлагать и почти бесконечно за ним следовать. Итак, довольно и того, что само это положение весьма известно, тем более твоему уму. Взгляни теперь на то, что происходит от разного происхождения. Ведь и они делятся на две первые формы, из которых одна – та, что относится к разности языков. Например, когда мы говорим «*tu*» («ты»), то этот единый голосовой звук означает одно у греков, другое у нас. Этот род, конечно, должно отметить<sup>45</sup>, но никому ведь не предписывалось ни того, сколько языков он должен знать, ни на скольких языках вести диспут. Другая форма – та, которая создает двойственность в одном языке, но при разном происхождении того, что обозначается одним словом, каковым является то, что мы выше установили по поводу «*nepos*». Это разрывается еще надвое. Ведь эта двойственность подпадает или под один и тот же род части речи – как имя оно означает «внука», если речь идет о «сыне сына», но так же и «богача», или под разные части речи: ведь не одно только «*qui*», когда мы говорим «*qui*» (кто), а другое, как было сказано, «как (*qui*) же ты это знаешь, если неставил себя в опасное положение»<sup>46</sup>, но одно – местоимение, а другое – наречие.

Уже с обеих сторон, т.е. от искусства и употребления слов, в чем мы положили третий род эквивокального, формы двойственостей могут существовать столько, сколько мы перечислили в двух вышеупомянутых.

<sup>43</sup> Склонением называли и спряжение.

<sup>44</sup> То, что в латыни пишется одинаково и в именительном, и в звательном падеже (*homo*) или по-разному в именительном и звательном (*doctus* в именительном падеже и *docte* в звательном) то в русском пишется по-разному (человек, человече) или, наоборот, одинаково (умник или, к примеру, «о умник!»).

<sup>45</sup> Пинборг подозревает здесь лакуну. – Прим. Дж. Марченда.

<sup>46</sup> *Terentius. Andria III, 3, 33* – Прим. Дж. Марченда.

Остается тот род двойственного, который открывается только в написанном, коего три вида. Ведь или из-за размера слогов он становится таким двойственным, или из-за ударения, или из-за того и другого: из-за размера – потому что если «*venit*» пишется неопределенно относительно времени, то это из-за неясного размера первого слога<sup>47</sup>; из-за ударения – потому что если пишется «*ropē*», то или от того, что это «*ropō*»<sup>48</sup>, или, как было сказано, «*ropē*», «следуя», «следуя сзади (такой им приказ дала Прозерпина)»<sup>49</sup>, это неясно из-за скрытого места ударения; или же становится таковым от того и другого, как, например, то, что мы выше говорили о «*leporē*». Ведь не только удлиняться может предпоследний слог этого слова, но и заостряться, если оно произошло от того, что есть «красота»<sup>50</sup>, а не от того, что есть «заяц».

*Перевод с латыни, введение и примечания С.С.Неретиной*

---

<sup>47</sup>*Venit* – приходит, если это настоящее время, и пришел, если это прошедшее время, в котором первый слог долгий.

<sup>48</sup>*Pono* – глагол первого лица единственного числа настоящего времени («я ставлю», «я определяю», «устанавливаю»).

<sup>49</sup>Вергилий. Георгики. IV, 487.Пер. С.Шервинского ([http://librebook.ru/bukoliki\\_georgiki\\_eneida](http://librebook.ru/bukoliki_georgiki_eneida)). Последнее посещение 9.05.2016). *Rone* здесь наречие.

<sup>50</sup> Ср. русское слово «лепота».